

ПЕТР ВЯЗЕМСКИЙ

ДЕЛА ИЛЬ ПУСТЯКИ
ДАВНО МИНУВШИХ
ЛЕТ

Петр Андреевич Вяземский
Дела иль пустяки
давно минувших лет

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=24512284

Аннотация

Воспоминания о Грибоедове.

Содержание

Петр Вяземский

Дела иль пустяки

давно минувших лет

Премного благодарю вас, любезнейший Михаил Николаевич, за присылку мне сентябрьской книжки «Русского вестника». В ней напечатана статья о «неизданных пьесах Грибоедова». А как в одной из помянутых пьес есть и мое участие, то вы, но любознательности своей, желаете иметь от меня справки и объяснения по этому делу. Не могу не повиноваться требованиям вашим: вы отец и командир всей пишущей грамотной и полуграмотной братии нашей, как строевой и наличной, так и бессрочно-отпускной и инвалидной. Вы не только начальник главного управления по делам печати живой и нынешней, но и мертвой, вчерашней, третьегодняшней, и едва ли не допотопной. Трудолюбивый, неутомимый изыскатель по русской части биографической и библиографической, вы все прочуяли, переведали, пересмотрели, до всего добрались и продолжаете добираться. От ваших истинно цензорских, то есть сотенных Аргусовых глаз ничто печатное доньше, и чуть ли не все писанное, не ускользнуло. Всеведение и память ваша изумительны. На ловца и зверь бежит. Вот нечаянно попало вам на глаза давным-давно забытое, да и в свое время мало известное, и, можно сказать,

случайное произведение Грибоедова: «Кто брат? Кто сестра?», и вы сейчас производите, хотя и по остывшим от времени следам, дознание, чтобы определить, как, когда и при каких обстоятельствах оно возникло и совершилось. Из всех ответчиков и свидетелей по этому делу чуть ли не я один налицо из числа всех живущих на земле. Присягнув пред вами, что я буду говорить правду и одну правду, начинаю показание свое. Но извольте принять в соображение, что с того времени прошло несколько законных и крупных давностей; следовательно, могу передать только то, что помню и что уцелело в памяти моей под спудом, ныне неожиданно пробужденной вашим вопросом и предъявленными уликами. Теперь к делу, но с маленьким предисловием.

Литература наша в настоящее время переродилась в Чичикова. Вероятно, за неимением живых, наличных душ, она принялась промышлять мертвыми. Везде, где бы то ни было, у кого бы то ни было, скупает она мертвые души, выгребает их из могил и закладывает в разные журнальные банки. Иные из этих операций хорошо и блистательно удаются, но далеко не все. Другие проваливаются, за недостатком достоверных и законных свидетельств, за неблагонадежностью лиц, представляющих эти залогов. Впрочем, это дело банков – быть осмотрительными и строго контролировать свои кредитные распоряжения. Жаль только, что частые несостоятельности и ложные документы могут подрывать доверие публики к подобным сделкам. Впрочем, и то сказать, публика наша та-

кая благодетельная, такая целомудренно-доверчивая, что за нее печалиться нам не для чего. Один тесть говорил про зятя своего: «Мой зять прекрасный человек; что ни поставь перед ним – все съест». Наша публика сродни этому зятю.

Как бы то ни было, я никогда не думал и не гадал, чтобы по истечении полустолетия вынырнуло из театральных подвалов дитя почти мертворожденное и вскоре погребенное. Мне казалось, что, не удержавшись на сцене, оно вовсе и безвозвратно погибло. Не тут-то было. Выходит, что французская поговорка: «Discret comme la tombe»¹ не всегда верна. В наше время и могилы сделались очень нескромными и болтливыми.

Во время оно и я был присяжным московским театралом. Привычка к театру есть род запоя. В известный час после обеда заноеет какой-то червь в груди; дома не сидится; покидаешь чтение самой занимательной книги, отрываешься от приятного и увлекательного разговора и отправляешься в театр, чтобы в креслах своих смотреть на посредственных актеров и слушать скучную драму. Московская труппа была так себе. Больших талантов, и в особенности образованных актеров, тогда не было. Репертуар, как и вообще весь русский репертуар, был слаб и скуден. Нас, между прочим, забавляло смотреть, как некоторые из актеров, на сцене, в самом пылу действия или любовного объяснения, одним глазом ни на минуту не смигнут с директорской ложи, чтобы

¹ Молчаливый, как могила (фр.).

видеть, доволен ли игрою их Аполлон Александрович Майков, тогдашний директор театра. Но нас, на ту пору блестящую московскую молодежь, привлекал в особенности балет, пламенно воспетый Денисом Давыдовым, в лице красавицы Истоминой, и удостоенный похвальным отзывом в «Евгении Онегине». Когда говорю балет, то должно под ним скорее разуметь разнохарактерный дивертисмент. Тут подлинно в разнообразных плясках являлись красивые грациозные талантливые танцовщицы. Это была своего рода поэзия. Кроме помянутой царствующей Истоминой было несколько блестящих личностей: в числе их назову Новикову, живую, увлекательную, черноглазую и густо-черноволосую цыганочку. Особенно памятен мне один дивертисмент, под названием, кажется, «Семик». Тут на выбор подобрано было все что ни есть лучшего в московском театре по ведомству пляски и пения. Молодой Лобанов в роли цыгана, с черною бородою и в ярко-красном архалуке, приводил в восторг всю публику от кресел до райка своими эксцентрическими и неистовыми коленцами. Тогда канкан не был еще изобретен, и мы беспорочно довольствовались некоторою отвагою в движениях. Со славою Лобанова соперничал, помнится, какой-то Лебедев, не принадлежавший московскому театру, но «со стороны» участвовавший в «Семике» как песельник. Голосом своим он звонко заливался, руки его, вооруженные ложками, фейерверочно вертели ими; ноги его так прытко изворачивались вприсядку, и все тело его так изгибалось и трепета-

ло, что он был живой и превосходный образец беснующегося. В один из проездов через Москву государя Александра Павловича театральная дирекция вздумала угостить его «Семиком». Но он вообще не охотник был до эксцентрических изъятий и выказал мало сочувствия разгулу и дикой поэзии «Семика». Напротив, узнав, что беснующийся ложечник – служащий писарь по какому-то военному ведомству, он остался очень недоволен: приказал, чтобы сей артист-дилетант вперед не осмеливался показываться на сцене, а военному начальству его сделан строжайший выговор за допущение подобного безобразия.

Извините меня: старые воспоминания бывшего театрала увлекли меня далеко в сторону. Но судя уже по вашей любопытной статье о русском театре, видно, что и вы старый театрала. А потому оправдываюсь перед вами переделкою стиха латинского поэта: «Вы театрала, и ничто театральное чуждым быть вам не может».

Теперь уже решительно выступаю на прямой путь.

В первой половине двадцатых годов, в 22-м или 28-м, директор московского театра Ф. Ф. Кокошкин, с которым находился я в приятельских отношениях, просил меня написать что-нибудь для бенефиса Львовой-Синецкой (кажется, так), актрисы, состоявшей под особенным покровительством его. Я ему отвечал, что не признаю в себе никаких драматических способностей, но готов ссудить начинкою куплетов пьесу, которую другой возьмется сострять.

Перед самым тем временем познакомился я в Москве с Грибоедовым, уже автором знаменитой комедии. Я сообщил ему желание Кокошкина и предложил взяться вдвоем за это дело. Он охотно согласился. Мы условились в некоторых основных началах. Он брал на себя всю прозу, расположение сцен, разговоры и прочее. Я брал всю стихотворную часть, т. е. все, что должно быть пропето. Грибоедову принадлежит только один куплет:

Любит обновы
Мальчик Эрот и проч.

(«Русский вестник», сентябрь 1873 г., стр. 257).

Не помню и не полагаю, чтобы романс Грибоедова:

Ах, точно ль никогда ей в персях безмятежных... – (там же, стр. 257) был пропет на сцене в водевиле «Кто брат? Кто сестра?». Все мои куплеты из этого водевиля были, помнится мне, впоследствии времени напечатаны в «Дамском журнале», издававшемся князем Шаликовым.

Незадолго перед тем возвратился я из Варшавы. В память пребывания моего в Польше предложил я Грибоедову перенести место действия в Польшу и дать вообще лицам и содержанию польский колорит. Каюсь, – двум девицам, участвующим в пьесе, дал я имена *Антося* и *Лудвися*, в честь двух варшавских сестер-красавиц, которых можно было встретить на всех гуляньях, во всех спектаклях, одним словом – везде, где можно было на людей посмотреть, а осо-

бенно себя показать. Водевильную стряпню свою изготовили мы скоро. Кокошкину и бенефициантке пришлась она по вкусу. Казалось, все шло хорошо. Но первый день представления все изменил. Пьеса, сама по себе не очень оживленная занимательным и веселым действием, еще более задерживалась и, так сказать, застывала под вялую игрою актеров, из которых иные неохотно играли. Затем, разумеется, публика неохотно слушала. Одним словом, если пьеса не совершенно пала, то разве оттого, что на официальной сцене пьесы падать не могут. Известная французская поговорка: «Il est un dieu pour les ivrognes»² – может быть применена у нас к театру. Для пошатнувшихся и споткнувшихся драматургов есть театральная дирекция. Она может сбить с ног лучший успех и вынести на руках своих комедию, рожденную калекою. Как бы то ни было, пьеса наша была не хуже многих, которые с успехом разыгрывались на московской сцене.

Худо ныне помню содержание и ход водевиля; но имя Грибоедова ручается, что произведение его не было же лишено всякого дарования и вообще драматической сноровки. То же скажу, без унижения и гордости, о куплетах своих, которые только что теперь прочел в «Русском вестнике», как будто заново или чужие. Право, не хуже они того, что распевалось на русской сцене прежде и после. Причина неуспеха нашего скрывалась в закулисных тайнах. В тогдашней московской театральной дирекции числился молодой Писарев. Он

² Пьяных бог бережет (фр.).

был ловкий переводчик французских водевилей и неутомимый поставщик их на московскую сцену, которая ими только и жила. Вообще был он не без дарования, но, вероятно, вследствие болезненного организма, был раздражителен и желчен. Он меня, не знаю за что, невзлюбил. Не любил он и Грибоедова, который уже пользовался рукописною славою своего «Горя от ума». Влиятельным лицом в дирекции был и Загоскин, также ко мне тогда недоброжелательный. С Грибоедовым же имел он старые счеты по Петербургу. Одним словом, хотя приглашенные в почетные гости у хозяина дома, Кокошкина, мы были вовсе не в чести у домашних его. С Загоскиным мы впоследствии времени хорошо сблизились. Вы знавали его и согласитесь, что никакое злопамятство не могло устоять против его цветущего и румяного добродушия. С Писаревым примирения у нас не было, но не было и случая к примирению.

Теперь, по желанию вашему, приступим к заметкам моим о статье, напечатанной в «Русском вестнике».

Грибоедов, вовсе не с горя, что не удалось ему видеть на сцене «Горе от ума» (стр. 251), принялся за помянутый водевиль, а, как сказано мною выше, совершенно случайно и по моей просьбе.

Стран. 252. Ошибочно сказано, что я с Грибоедовым познакомился *«в то время, когда мы оба служили в военной службе и стояли с полками в Царстве Польском»*. В военной службе состоял я только в 1812 году и не далее Бородина;

с Грибоедовым познакомился лет десять позднее в Москве.

Стран. 258. Также ошибочно показание, что куплеты: «Жизнь наша сон! все песнь одна!» писаны именно Грибоедовым. Напротив, написаны они именно мною, в подражание французской пьесе, которую певал в то время заезжий француз.

Выше упомянул я о недоброжелательстве ко мне Писарева. Вот, между прочим, и доказательство тому. Однажды сидим мы одни с Грибоедовым в директорской ложе. Сознаюсь, я тогда более смотрел на ложи, нежели на сцену. Вдруг Грибоедов говорит мне: «Eh bien, vous voila chansonne sur la scene»³. – «Как это?» – спросил я. Между тем слышу громкие рукоплескания и крики «bis». К ним присоединил я и свои, чтобы узнать, в чем дело. Актер повторил требуемый куплет, и я догадался, куда автор хотел метить. Это было во время полемики моей с М. А. Дмитриевым по поводу «Бахчисарайского фонтана». Помню куплет доньне. Не подумайте, что он занозою въелся в память мою. Сейчас покажу вам, что куплет вовсе не занозливый. Но он был одним из поличиных обстоятельств в литературной тяжбе, которая в свое время не мало наделала шума. А потому и почитаю, что он подлежит вашему цензурно-генерал-прокурорскому надзору:

Известный журналист Графов
Мишурского задел разбором;

³ Ну-ка, там о вас поют на сцене (фр.).

Мишурский, не теряя слов,
На критику ответил вздором.
Пошли писатели шуметь,
Кричать, сердиться от безделья.
Пришлось же публике терпеть
В чужом пиру похмелье.

Позвольте мне теперь на досуге исследовать археографически и археологически этот допотопный памятник. *Известный журналист Графов*. В то время под этим прозвищем «Графов» осмеивали бедного графа Хвостова; придать это прозвище и Каченовскому не было очень лестно для журналиста, которого Писарев считался приверженцем.

Мишурский, *не теряя слов*,
На критику ответил вздором.

Мишурский, очевидно, я, и потому, что я урожденный ситительство, а, вероятно, еще более потому, что я люблю играть словами и часто выражениями своими пускаю в глаза блеск, или, пожалуй, мишуру. Прекрасно. Но, на беду автора куплета, рифма попутала его. Он должен был и хотел сказать: «*Не теряя времени*». А теперь мудрено согласовать, что я и «*не терял слов*» и «*ответил вздором*».

Пошли писатели шуметь,
Кричать, сердиться от безделья.

Под словом *писатели* должен быть подразумеваем и М. А. Дмитриев, с которым мы вели пререкания. А между тем Писарев и он были приятелями и литературными единомышленниками. Таким образом, швыряя в меня камнем, задевает он при сей верной оказии и приятеля своего. Один путный стих во всем куплете есть последний, да и то потому, что он весь заключается в известной пословице.

Прозвище *Мишуурского* напоминает мне другого остряка, который где-то пожаловал меня «князем Коврижкиным». Что же прикажете делать? Не обрежешься от нарезного огнестрельного остроумия наших литературных знаменитостей.

Автор статьи о «неизданных пьесах Грибоедова» читал (стр. 257) большое письмо его к Верстовскому по поводу водевиля нашего, выражающее «большую заботу о постановке этой пьесы». Я этого никак не ожидал, и вот по какой причине.

Следующий рассказ может, во всяком случае, служить характеристическою чертою в изображении Грибоедова и показать, как умел он владеть собою и не выдавать себя другим врасплох. Вообще, не был он вовсе, как полагают многие, человеком увлечения: он был более человеком обдумывания и расчета.

В день представления водевиля Грибоедов обедал у меня с некоторыми приятелями моими. В числе их был и Денис Давыдов. «А что, – спросил он Грибоедова, – признайся: сердце у тебя немножко ёкает в ожидании представления?» –

«Так мало ёкает, – отвечал отрывисто Грибоедов, – что даже я и не „поеду в театр“». Так он и сделал. Мы отправились без него и заняли литерную ложу во втором ярусе. Оттуда мог я следовать за постепенным падением пьесы. Со всем тем, по окончании, раздалось в партере несколько голосов, вызывавших автора. Я, разумеется, не вышел. Актер явился на сцену и донес публике, что авторов два, но что ни одного из них нет в театре. Давали ли водевиль после первого представления, – сказать не могу и до нынешнего случая ничего не слышал о нем.

В разбираемой статье (стр. 252) говорится, что пьеса никогда не была напечатана, «хотя издание ее было бы в высшей степени любопытно», но нельзя приступить к тому *без согласия моего*. Не полагаю, чтобы это произведение Грибоедова могло послужить приращением к славе его и к пользе нашего репертуара. Но во всяком случае, что до меня относится, предоставляю этот водевиль в полное распоряжение желающих потребителей.

Еще одно замечание, хотя по предмету постороннему. На странице 235 приводится известная эпиграмма на Карамзина:

Послушайте, я вам скажу про старину,
Про Игоря и про его жену... *и проч.*, –

и приписывается она Грибоедову. В заграничных издани-

ях печатается она под именем Пушкина – и, кажется, правильно. В ней выдается почерк Пушкина, а не Грибоедова, которого стихи, за исключением многих удачных и блестящих стихов в «Горе от ума», вообще грубоваты и тяжеловаты. При всем своем уважении и нежной преданности к Карамзину Пушкин мог легко написать эту шалость; она, вероятно, заставила бы усмехнуться самого Карамзина. В лета бурной молодости Пушкин не раз бывал увлекаем то в одну, то в другую сторону разнородными потоками обстоятельств, соблазнов и влияний, литературных и других.

В той же статье приводятся слова Грибоедова, сказанные приятелю его уже после написания «Горя от ума». Они меня очень поразили, между прочим и тем, что служат новым свидетельством тому, как часто авторы ошибаются в оценке свойств таланта своего. Он говорит: «Я не напишу более комедии; веселость моя исчезла, а без веселости нет хорошей комедии». Последние слова совершенно справедливы. Но дело в том, что в комедии «Горе от ума» именно нет нисколько веселости. Есть ум, есть острота, насмешливость, едкость, даже желчь; есть здесь и там, бойкие черты карандаша, схватывающего с удивительною верностью и живостью карикатурные сколки; все это есть – и в избылии. Но *веселости*, без чего нет *хорошей комедии*, по словам Грибоедова, не найдешь в «Горе от ума». Это сатира, а не драма; импровизация, а не действие. О комических положениях, столкновениях, нечаянностях (естественно, а не натяну-

то и не произвольно вытекающих из самой сущности драматической басни) нет тут и помина. Один Чацкий, и то, разумеется, против умысла и желания автора, оказывается лицом комическим и смешным. Так, например, в сцене, когда он, после долгой проповеди, оглядывается и видит, что все слушатели его один за другим ушли; или когда Софья Павловна под носом его запирает дверь комнаты своей на ключ, чтобы от него отделаться. Эта исповедь моя, по поводу «Горя от ума», покажется многим дикою и страшною ересью. Но я ни в чем не терплю преувеличения. Один из первых приветствовал я «Горе от ума» с живым сочувствием. Не только у нас, на сценическом безлюдии, но и на другой, гуще населенной сцене, например французской, комедия Грибоедова была бы блестящим явлением. У нас, после «Недоросля» и до «Ревизора», была она не только блестящей, но прямо из жизни выхваченной картиной; картина, может быть, слишком раскрашена, немного натянута; в ней, может быть, выдается более сам живописец, нежели изображенные им лица; но все же, повторяю, картина замечательная по бойкости кисти, по краскам и живости своей. Кажется, довольно и сказанного для беспристрастной оценки этого творения. Вероятно, и сам автор, несмотря на самолюбие свое и чадолобие, которое присуще каждому автору, не пошел бы многим далее меня в определении достоинства комедии своей. Он был очень умен, образован, хорошо знал иностранные литературы, следовательно, не мог запрашивать у общественно-

го мнения цену, слишком не подходящую к делу. Но наши присяжные ценители и судьи не связаны ни этими и никакими другими условиями. Они рубят сплеча того, кто им не по вкусу и не по нраву; зато уже любимцев своих торжественно и празднично закачивают, на усердных руках своих до беспомысленности и тошноты. Признаюсь, мне оскомину набили эти стереотипные прилагательные: бессмертная, гениальная, которые, по заведенному единожды порядку, привешивают к комедии «Горе от ума». Хотелось бы спросить этих господ: из каких доходов раздают они эти дипломы на бессмертие и гениальность? Какие личные права имеют они на подобные производства? Вообще критика наша необстоятельна: ей следовало бы воздерживать себя от неблагоразумной расточительности. Но широкой русской натуре тесно в условиях и законных пределах. Она перескакивает их. Ей, например, Мольер не более известен, чем китайцам; но она не усомнится принести его и многих других в жертву Грибоедову. И так далее, везде и во всем. У нас встречаются писатели с дарованием, но писателей образованных очень мало. Оттого и критика наша или поверхностна, или сбивчива, когда ей захочется поумствовать и полиберальничать. Общественное мнение, по крайней мере в большинстве, подчиняясь этой критике, с каждым днем все более и более заблуждается и падает. Что ни говори, а все это признаки болезненности и отсутствия образованности.

А вы, которые извели, исследовали, проверили, проме-

рили на Руси все чернильные потоки, протоки, притоки, знаете ли вы, что в комедии «Горе от ума» есть и моя капля, если не меда и желчи, то по крайней мере капля чернил, то есть: точка. Угадайте, поищите. Нет, не находите! Так и быть: укажу я вам.

Скоро после приезда в Москву Грибоедов читал у меня и про одного меня комедию свою. После падения Молчалина с лошади, испуга и обморока Софьи Павловны (действие 2-е, явление 8-е) Чацкий говорил:

Желал бы с ним убиться для компании.

Тут заметил я, что влюбленному Чацкому, особенно после слов:

Смятенье, обморок...

Так можно только ощущать,

Когда лишаешься единственного друга... –

неловко употребить пошлое выражение «для компании», а лучше передать его служанке Лизе. Так Грибоедов и сделал: точка разделила стих на два; и эта точка моя неотъемлемая собственность в *бессмертной* и *гениальной* комедии Грибоедова. Следовательно, и на мою долю надает чуть заметная гомеопатическая крупинка, о чем имею честь заявить нашим маклерам по части бессмертных и гениальных дел.

«Ух!» – скажете вы. «Ух!» – говорю и я. Меня самого пу-

гает непомерная долгота письма моего. Каково же будет вам? Впрочем, виноваты вы сами. Вы задрали родным вопросом старого приятеля, который в немецком закоулке своем сидит, как заключенник в тюрьме, на одиночном и безмолвном положении. Вот меня и прорвало! Вперед будьте осторожнее <...>